



Худ. С. Каретко.

СЛОВО УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА
МОЛДЫХ ЛАТЕРАТОРОВ КРАЯ

РАССКАЗ

Паутина летит по ветру. От листьев, уже тронутых красками осени, от веток, от замшелых штакетин заборов тянутся тончайшие серебристые нити.

Я иду по улице, смахивая с лица паутину.

Совсем крохотный мальчуган, присев на корточки, гоняет по асфальту гвардейский значок. Глухо, словно жалуясь на несправедливость, звякает бронза...

...Тогда тоже был сентябрь, и над белорусскими лесами и полями неся паутинный серпантин. Мы рвали паутинки, как финишные ленты, и неслись вперед. Я не слышал выстрелов, свиста пуль, разрывов снарядов, мин, гранат. Страшно было перед атакой, когда я сидел в окопе и ждал команды. Тогда я думал о том, что в девятнадцать лет очень обидно умирать. Потом с правого фланга батальона лавиной налетел крик. Пехотинцы выпрыгивали из окопов, орали непонятное и, может быть, поэтому особенно грозное для врага и требовательное для соседа, солдата, еще сидящего в окопе. Закричал и я, рывком выбрасываясь из узкой щели в земле. Страх пропал. Я видел спину впереди бегущего командира отделения, матовый налет соли на его гимнастерке, белокурый, давно не стриженный затылок, угол выгоревшей пилотки.

Пыль плеснула в глаза. Когда муть рассеялась, командира отделения уже не

было. На свеженасыпанном глинистом бруствере окопа стоял рослый гитлеровец и суетливо выдергивал из-за пояса запасной магазин с патронами к автомату. Я с ходу сунул стволом карабина прямо в его оскаленные зубы, прыгнул через окоп, увидел яркую вспышку, и все исчезло.

...Беззаботный стрекот кузнечиков пришел внезапно, словно кто-то невидимый широко распахнул дверь в наглухо закрытую комнату.

Было только небо и кузнечик. Это страшно, когда ничего нет. Представлялось, что одна голова моя лежит на поле и смотрит широко открытыми глазами в пустоту.

Потом я стал чувствовать свое тело, но радости от этого не было. Была боль. Я застонал. Теплая солоноватая струйка потекла в горло, забивая дыхание.

...Сознание пришло светлой точкой, которая быстро разрослась в матовый купол. Трудно было дышать, не хватало воздуха. Затем купол исчез, и в уши ворвалась странная, совершенно лишенная мелодии музыка. Свистели соловьи, глухо рокотали большие барабаны, завывал тромбон, но воздуха не прибавилось.

Я открыл глаза и увидел ком земли, по его неровностям ошалело метался черный муравей. Метался бестолково, замысловатыми кругами и петлями. Повел глазами ниже. Тонкий стебелек, крохотные листочки и маленький цветок на вершине. Цветок похож на ребенка с румянцем во всю щеку. Но жить ему осталось мало: по-

ловина корней оголена, а остальная часть их судорожно вцепилась в опаленный взрывом комочек земли,

— Не жилец ты, дружище, — сказал я цветку я вдруг, услышал:

— Пить хочешь?
В воронке вместе со мной лежит девушка.

Лежит на спине. Голова на густых, серых от пыли волосах, как на подушке. На ресницах налет пыли, от этого ресницы кажутся длиннее и гуще, за ними не видно глаз. Запекшиеся до трещин губы девушки зашевелились:

— Тебе пить нельзя... Терпи. На нейтралке мы...

Все стало понятным.

Мне хотелось рассказать девушке о том, как привычные звуки фронта вдруг стали для меня непонятной музыкой, но было не до разговоров. Я закрыл глаза и молчал. Но молчать тоже плохо. Я похвастался:

— А пить мне не хочется.

Пришла мысль, что у меня нет ног. Все поплыло перед глазами, когда поднял голову, но ноги я успел увидеть и снова лег щекой в мелко искрошенную землю воронки.

— У тебя рана на шее. Сейчас перевяжу, — сказала девушка.

Я лежал и слушал, как она ползет. Слишком медленно она это делала. Пересилил слабость — открыл глаза.

Она лежала на правом боку. Бледность проступала даже через толстый слой пыли. От губ по щеке протянулась алая дорожка. На гимнастерке, рядом с гвардейским значком, дырочка, а вокруг большое пятно запекшейся крови. Похоже, все силы у нее уходили на дыхание. Сантиметр за сантиметром она двигалась ко мне.

— Лежи спокойно, — сказал я, — обойдусь без перевязки.

Она не слышала, не хотела слышать.

Здоровому человеку ничего не стоит вскрыть индивидуальный перевязочный пакет. У нее были тонкие длинные пальцы. Трижды принималась она тянуть за нитку, добираясь до бинта, затянутого плотной бумагой.

— Приподними голову, — попросила девушка. Первая попытка закончилась неудачей. — Не могу, силы не хватает.

— Надо перевязать. Кровью изойдешь.

— А ты?
Теперь ее лицо почти вплотную приблизилось, к моему. У нее были большие глаза. Очень большие и очень синие.

Долго тянулась мучительная для нас обоих операция — перевязка.

Вконец обессиленные, мы лежали лицом к лицу и говорили. Она — о маме, о Волге, о школе, я - о Черном море.

Странные это были рассказы: мы часто теряли сознание, бредили, но упрямо говорили и говорили. Было двое умирающих и каждому — страшно потерять товарища, и каждый что-то бормотал, словно отбивая телеграммы с одними и теми же текстами: «еще жив», «еще жива», «еще жив»...

Может быть, и в девяносто девять лет умирать — дело не очень приятное, но в девятнадцать — страшно. А еще страшнее потерять сверстника, который с пробитыми легкими сумел втащить тебя в воронку, укрыть от пуль и осколков.

Когда санитары извлекли нас из воронки, мы продолжали выговаривать свои «телеграммы».

Еще два дня мы лежали рядом на полу большого сарая, где расположился медсанбат. В тыл ее увозили первой. Я слышал, как она сказала санитару:

— Мой гвардейский значок отдайте вот этому парню, а его значок — мне.

— Некогда, сержант, нам игрушками заниматься.

— Это не игрушки.

— Трудно тебе уважить человеку, — вмешался второй санитар.

Значки обменяли, хотя санитаров кто-то здорово ругал за задержку. Я лежал спеленатый, как грудной младенец. Даже глаза завязали марлей.

Больше никогда я не встречал моей спасительницы. Не знаю, как ее зовут. Только выщербленный пулей гвардейский

значок храню, как память о Человеке —
синеглазой девушке с Волги.

Тысячи паутинок связывают нас с
прошлым, и сколько бы их ни рвало время,
они все тянутся от каждого листочка, от
каждой веточки, от штакетов заборов —
отовсюду. Слышишь, синеглазая, я по
паутинке-воспоминанию посылаю сигнал:
«еще жив!».